Сагеева (ур. Штыкина) Мария Станиславовна.

1931 г.р. Жительница села Кривошенино Томской области, дочь расстрелянного в 1938 г. С.А. Штыкина. Запись: май $2020~\Gamma$.

— Родилась я 2 августа 1931 года в деревне Черепаново Кривошеинского района Кривошеинского сельсовета. Родители: Станислав Адамович и Ева Петровна Штыкины. Мама была слепая. Когда меня рожала, уже не видела. Всего у нее было 11 детей, трое умерло. Сейчас я последняя в живых осталась.

Когда началась война, мне шел десятый год. Помню, суматоха такая кругом поднялась — не приведи господь! В конторе было радио, от батареи работало. Все там собрались и слушали. Передали: «Началась война». Все как раскричались: «Война началась, война началась!». Мужики давай хорохориться: «Ооо! Да мы их шапками закидаем!». Закидали, ага.

Мы, дети, путем не соображали, что это такое. Потом где у порога что услышим, где на улице. Взрослые что-то решали за столом в конторе, а до нас еще не доходило, что за страх такой — война. Когда голод и холод нас клюнули капитально в 1942 году, тогда только поняли.

Из деревни в 1941-м сразу много народу ушло на войну. Правда, небольшая совсем деревня была — 30 домов не наберется. Первым делом забрали сильных мужчин. Тех, кто покрупнее, оптом всех увезли сразу. В тот день берег стонал. Не дай Бог встретить эту беду никому — ни злому, ни лихому. Не дай Бог.

Потом стали брать уже по годам. Сначала 1923-24 годы призывали, дальше — тех, кто помоложе. Повестка пришла — собирайся и езжай. Никто не спрашивал: хочешь - не хочешь. К концу войны брали рожденных в 1926-м. Эти недолго прослужили, но даже из них много кто раненый вернулся.

Выживали как могли. 1941-й был еще ничего, терпимый. А в 1942-м наступил настоящий голод. Самое страшное в военные годы — это голод. Какие до этого были у нас огородики? По две-три соточки. Ведра два-три картошки посадил да грядку морковки, и хватит. Все надеялись на хлеб. А война началась, и хлебушка тютю. И картошки также.

В 1942 году вообще на траве жили. Это правда. Не врут те, кто так говорит. Многие и крапиву ели. Рвали щавель и полевой лук, мы его тогда называли ива. Он такой большой был. Пойдешь, надергаешь, в чашку накрошишь, посолишь чуть-чуть и хлебай. Все. Хлеба нет. Но нам еще повезло. Семья большая была, все время держали поросят и две коровы. Свой сепаратор был. С коровы надо было сдать 300 литров молока. А мы сепарировали и сдавали не молоком, а топленым маслом. Так и нам кое-что оставалось: где творожок, где обрат. А вообще, все возили в Кривошеино на базар. Налоги платить надо было и займы тоже. Если скотину кололи — нам оставались одни кишочки, остальное сдавали в колхозы или возили продавали, даже рога и ноги. Мы все в семье были трудолюбивые. Отец с матерью лодырей не любили.

Отец у нас был расстрелян как враг народа. После этого вообще трудно нам пришлось. Не из-за того, что забот больше стало. Из-за людей. Попробуй не появись на работу или

слово скажи против – тебе сразу: «Что, по отцовской линии хочешь пойти?». Что тут вспоминать. Сильно тяжело. На улицу нельзя было выйти. Даже маленький пацаненок какой-то бежал и тыкал пальцем в тебя: «Враг народа!», «Враг народа!». Теперь все поумерли. Я старше всех, наверное, в деревне осталась.

Школа у нас в деревне появилась в сентябре 1940 года. Война началась, я как раз первый класс закончила. Школа и в войну работала. Все было казенное: тетради, книги, чернильницы, ручки, перья. Даже запасные перья лежали на партах. Это я помню. А одежда — у кого что было. В войну вообще кто в чем, а кто босиком.

Первый наш учитель был из Жуково – Иван Константинович Глущенко. Красивый такой, русые волосы. У нас за стенкой жил. Он пошел в армию добровольцем. И там погиб. Помню, похоронку прислали нам в школу, что учителя вашего больше нет.

Какое там детство. Не было его. Взрослые горевали, и до нас тоже доходило. Никто не веселился. Некогда было. Работали.

Рядом под горой речка была, мы там рыбачили: неводом, сетями, фитилями. Я страсть как любила рыбачить. Зиму и лето я на рыбалке. Весна, осень — все время там. Меня сильно хвалили. Как-то старик дядя Миша Чагин, который сено возил, спросил рыбаков: «А чего это с вами молодая? Все на лесозаготовках, а она здесь с вами, стариками?». А они говорят: «Нам за нее и двух не надо!».

Мороз - 45, а ты голыми руками тянешь невод. На руках есть маленькие волоски, так они инеем покрываются. А ниче, руки крепкие, продолжают. Они и сейчас такие. Могу в мороз на улице поработать.

А лед как долбили! Зима в 1942-м была лютая. Лед на реке и озерах был больше метра. Разденешься, останется только пиджачишка тоненький какой-то да платочек на голове. Вся мокрая, аж пар идет. Фуфайка сложена и завязана веревочкой, на санях лежит. И когда кончишь уже прорубь долбить, спросишь: «Все или не все, старички?». Они крикнут: «Всё! Беги, Марусенька, беги!». Тогда и побежишь. Боялась я, что если только встану — простыну и умру.

В Старом Ергае была у нас Александра Александровна. Она все время удивлялась, говорила: «Я боялась, чтоб ты только туберкулез не подхватила». Голая работала. Да еще как! Попробуй, угонись за мной мужик! Бог пронес. Смотри, 89-й год, а я вот она, никакой заразной болезни нет.

А весной я на атармах стояла (прим. ред.: атарма – рыболовецкая ловушка. Сооружается на реках во время ледохода: в дно вбиваются бревна, между ними прикрепляют ловушку из крепкой сети. Рыбаки могут контролировать движение атармы с помощью веревок). Не так уставала там, как боялась. До того страшно было. Опускать ловушку нужно было до самого дна. Сколько там глубина была – не знаю даже. Стоять надо было на сетовой – так бревно называли. Ты стоишь, а через эту сетовую вода хлещет. Река весной бурная, ничего не слышно. Говорить без толку. Друг другу только руками показывали, что надо делать. А сзади котлован. Видели, как в кастрюле вода кипит? Вот так там вода бурлила. Попробуй пошевелись! Чуть ногой или рукой не так двинешь – и все. Две весны я так

простояла.

У нас в деревне засольный пункт был. Щук, язей и другую крупную рыбу в воде холодной охлаждали и быстрее перерабатывали. А чебаков и прочую мелочь прямо из носилок сыпали в большие чаны и со льдом солили. Чего-чего, а соли тогда было много. Без нее не жили.

На лето готовили холодильники. В земле копали яму глубокую-глубокую, зимой долбили кубы льда на реке и складывали их туда, сверху покрывали это толстым слоем земли и бревнами перекладывали, чтобы не обвалилось все. Там лед все лето почти сохранялся.

В те годы где я только не работала. За столом с пером не сидела – это да. А так везде побывала. Три зимы провела на лесозаготовках. Бревна катала. Мы все боялись, чтобы бревном не убило. Когда дерево падать начинает, смотришь, куда падает, и быстро решаешь, куда бежать. А как свалят лесину, надо с нее все сучья обрубить, хвою собрать и сжечь. Пень – ошкурить. Обрабатывать надо было все хорошо, иначе мастер не примет. Так лесина лежит, ты ветки с нее срубаешь. Сверху управишься – надо как-то перевернуть, чтобы снизу убрать все.

На бараке лозунг висел: «Не сделал норму – не заходи в барак». А где ты сделаешь норму, когда тебя загоняют в пихтач или ельник? Вы знаете, сколько веток на пихте? Миллион! Сверху донизу! Это вам не сосна, где по шесть-семь штук только на макушке. Как ты тут норму дашь? Хоть лопни – не получится. Тем более когда снег по живот. Сначала надо обтоптаться, сколько на это времени уйдет. А день зимний и так короткий. Тяжело было, а куда деваться?

Барак был в поселке. Чтобы от него до деляны добраться, шли по лесу три-четыре километра. Рано вставали, еще огни горят, а ты уже бежишь, чтобы как рассвело, уже начать работу. Целый день в лесу. А оттуда идешь — не торопишься. Придешь домой — уже огни горят. Кормили? Ага! Святым кулаком по окаянной шее! Что дома есть, брали, и все.

Моя сестра Анна тоже работала на лесозаготовках. Мы там напилим, а брат младший лес возил с делян. Его с другими мальчишками мы звали лесовозчиками. Они свозили на конях дерево в кучу с делян разных колхозов. Только у них были не сани, а подсанки по пять-шесть метров. Бревна же длинные, не помещались. Мы их распиливали по размерам, которые нам мастер укажет.

Вот там мы молились Богу, чтоб заболеть. Просили: «Господи, дай захворать!». Но никто не болел. Хоть и простывали, и мокрые были, и голодные. Никакие болезни нас не брали. Хорошо еще, что гармошка в бараке была. Веселила. И пели, и плясали. Ребята как пойдут в «Казачка» — барак гремит.

В Старом Ергае был сплав. Рабочие сплачивали бревна, соединяли их в пучки. По сколько штук — не помню. Мы потом забирались на последний пучок и гнали их длинными шестами. Стоишь на сплотке и толкаешь эти бревна с двух сторон. Я в платье ходила. Бывало, все этим шестом изорвешь, весь живот голый. Бревна же на воде, постоянно крутятся, а ты сверху. Страшно. Одна девочка так даже утонула. Мы-то

речные, хоть маленько плавать умели, а она из колхоза была. Жалко.

Мошки были какие, ой-ой! Кругом лес. Речушка узенькая. Мошек море, не спастись. Мы платок завяжем на лицо, дырки под глаза сделаем. А шея вся изъедена, как сукно красная. И все остальное ели как хотели. Ни штанов, ни комбинезонов не было. Полные трусы мошек. Не дай Бог никому это испытать.

Мама всю войну лен пряла. Ей некогда было даже по дому управляться. Ниток-то не было, а невод надо было починять постоянно. Все гнило. Она и после войны пряла лен, пока не поломалась прялка совсем. Маму за это наградили медалью за работу в тылу. А мне такую же в 1948-м дали. И я ее не сохранила. Отдала ребятишкам своим играть. Дочь старшая говорила недавно: «Мама, я помню, как мы маленькие твоими медалями играли». Не хранила ничего тогда. Книжечка только осталась. Сейчас бы берегла. Все последующие медали лежат. И награда мужа тоже. Он со мной в один день ее получил. На фронте не был, 1930-го года рождения. Мы по соседству жили, вместе в тылу работали.

Такие мальчишки тогда трудились, сейчас никто и не поверит. Копны возили на конях. Так их, чтоб не выпали, к седлам привязывали. Вот как работали. Это надо нынешним 17-летним рассказывать, которые работать не хотят. Тогда все шевелились, как черви. Уговаривать не надо было никого. Сказал председатель или бригадир — все сразу поехали. Приказ есть приказ. У нас в деревне бригадиром и председателем был Николай Степанович. Он умел агитировать людей. Находил такое слово к каждому, что человек разбиться был готов, а задание его выполнить. За это его уважали.

И усталость была у всех, и страшного видели много. Но мы, дети, многого понимали. Просто знали, что надо работать.

Однажды у меня прямо сердце в пятки ушло. Войне конец был как раз. Нужно было срочно какую-то бумажку оттащить в Першино, а солнце к закату клонится. Надо бы на коне ехать, а коней всех отпустили уже. И решили: «А что, Манька же у нас быстро бегает! Маньку надо послать!». И послали меня с этой бумажкой в сельсовет в Першино. Я галопом понеслась. На полпути стояла пасека колхозная. Я до нее добежала. Там как раз осинник шел, темный такой, страшно-страшно было бежать. А дальше — дорога, где леса нет. Я до нее быстро добежала. Заскочила в сельсовет, бумажку эту отдала, говорю: «Пишите скорее, мне назад надо бежать». А они мне: «Что, не успеешь, что ли?». Сильно страшно было, солнце уже село почти. Не помню, как неслась. Я ведь никого не боялась, только медведей. И до сих пор их боюсь. Как до края осинника добежала, огни деревни увидела — выдохнула: «Ну все, теперь медведь меня точно уже не достанет».

Откуда силы брались? Я так скажу: если захочешь — все сделаешь. Не захочешь — и кнутом не заставишь. У меня две сестры было. Одна на два года старше меня, а у нее нет медали никакой. Ее и на работу не сильно приглашали. Не расстарается. Кто таких в бригаде держать будет? Бригаде надо — ого-го! Чтоб ударно работала. А другая сестра — Анна, та была трудяга. Они с Ереминой Анной всю войну сено метали ловко и быстро, как два мужика. Как сено поспеет, их с любых работ снимали и на метку посылали.

Когда война закончилась, я училась здесь, в Кривошеино, в пятом классе. Жила у дяди с тетей. Помню, гляжу в окошко, а все бегут куда-то мимо нас. Дядя на койке лежит, а я у тетки спрашиваю: «Тетя Аня, а что люди бегут? Что случилось? Неужели пожар где?».

Выскочила к калитке и кричу: «Где пожар?». А они мне: «Какой пожар? Война кончилась! Все на площади собираются». Я с ними побежала.

Радовались и плакали. Обнимались, целовались и рыдали. Не приведи господь такое узнать никому, не приведи господь.